



Данил Астафьев
(Белый)

Я-Марсианин

Данил Астафьев (Белый)

Я-Марсианин

«Автор»

2026

Астафьев (Белый) Д.

Я-Марсианин / Д. Астафьев (Белый) — «Автор», 2026

Прокурор в отставке. Служба в спецназе. Дед-фронтовик. Сибирь. Это не мемуары, не боевик про спецназ. Сборник рассказов о том, как мальчик становится мужчиной. Собака, которую ждал двадцать лет. Дровяник, где ребёнок учился не жалеть себя. Заместитель прокурора, лезущий на столб на глазах у толпы. Брат, который пришёл во сне за день до того, как в автора стреляли в упор. Здесь нет вымысла. Есть жизнь — жёсткая, тёплая, страшная, смешная и философская. Одновременно. Эта книга — не про форму и погоны. Она про того, кто внутри. Кто смотрит на всё это. Кто не сдаётся. Кто — марсианин на этой планете. Все персонажи, за исключением прямо названных родственников и друзей автора, являются вымышленными или их имена изменены. Любые совпадения с реальными людьми случайны. События основаны на личных воспоминаниях и не претендуют на документальную точность. Астафьев — родовая фамилия по линии матери. Я — прямой потомок Данилы Астафьева Белого, основателя деревни Кактолга в Читинской области.

© Астафьев (Белый) Д., 2026

© Автор, 2026

Данил Астафьев (Белый) Я-Марсианин

Я — МАРСИАНИН

Астафьев (Белый)

Оглавление

Земля в иллюминаторе

Я и сейчас тебя помню и жду

Сложные схемы

Здоровому спорт не нужен

Три знака

Как и мы прощаем должникам нашим

Островок

Пусть всегда будет солнце

Пробуждение от морока

Дурак дураку — рознь

Братан

Глубокое погружение

Случайно выживший

Три змеи

Сапожник без сапог

Я — марсианин

ЗЕМЛЯ В ИЛЛЮМИНАТОРЕ

Сарай, в который я забивался, был дровяником. Сбит из горбыля, щелястый, с южной стороны стену почти совсем разобрали на растопку — ещё до меня. Потом завалили старыми досками. Теперь и тех не осталось. В щели между горбылинами видно небо, и огород, и лес, и даже кусок соседского двора. Пахнет прелой корой, сырой землёй и ещё чем-то кислым, неуловимым — может, тем, что здесь когда-то хранили, а потом перестали. Дров в дровянике нет. Зачастую нечем топить печь, чтобы сварить картошку или вскипятить воду.

Я научился по ночам ходить к соседу, дяде Васе Гусельнику, забираться в его дровяник и брать несколько поленьев. В первый раз меня трясло, я трижды обходил его сарай, прежде чем решиться. Сердце колотилось так, что, казалось, его слышно на всю улицу. Я взял три полена, самые тонкие, и бежал, не разбирая дороги, сломя голову. Дома долго не мог уснуть — стыдно. Но через неделю привык. Даже обнаглел. Цель оправдывала средства: надо было кормить младших. Здороваясь с дядей Васей, я прямо смотрел ему в глаза, не отводя взгляд. Внутри был стыд и боль, но виду я не подавал, выдавливая беззаботную улыбку.

Отчим — я называл его отцом, но редко, язык не поворачивался произнести «папа» — пришёл откуда-то пьяный. Мать, скрестив руки, стояла с папиросой на крыльце, глядя в одну точку. Вечерело. Был выходной, выпивать они начали с обеда. Денег не было, не было и еды, но когда это их останавливало.

Днём было тепло, и я вышел во двор нарубить дров для растопки. Рядом с дровяником валялись несколько лиственничных чурок — раньше их не трогали из-за крепких сучков. Я взял колун и попытался разбить одну. Она была корявая, высокая, поленья наверняка не вошли бы в топку, но я пытался расколоть её хотя бы на щепки. Я был обут в летние сандалии на босу ногу и, махая колуном, не заметил позади себя осколки разбитой зелёной бутылки из-под вина. Такую бутылку в народе называли «огнетушитель» из-за большого объёма. Осколки были очень острыми, напоминали зубы пираньи.

Ударяя колуном, я чуть ступил назад, и осколок попал между отверстиями сандалии, сильно вонзился мне в стопу. Я громко вскрикнул от боли, посмотрел на рану, понял, что всё серьёзно, и на одной ноге допрыгал до крыльца.

На крик вышла пьяная мать. Сегодня она была почему-то злой. Пьяным глазом осмотрела рану, и от вида крови ей стало плохо. На ложбине стопы левой ноги, на внутреннем изгибе, который проверяют на плоскостопие, был глубочайший порез — стекло провернулось, вывернув кусок плоти наружу.

Я попросил принести воды, йод и бинт, сказал, что сам обработаю, вставлю кусок на место, всё заживёт. Больно было так, что меня тошнило.

Она вошла в дом, но через минуту вернулась с отчимом. Тот осмотрел рану, взял меня за ногу, приказал матери держать меня. Физически он был силен как бык. Он схватил ногу стальной хваткой, как в тиски, настолько сильно, что я подумал — сломает голеностоп. Пьяный отчим, возомнив себя хирургом, грязными пальцами тыкал в рану, сжимал стопу, ища стекло, причиняя мне невероятные страдания. Я понял, что он хочет вырвать этот болтающийся кусок. Кровью уже залило крыльцо и тротуар.

Я стал сопротивляться, дёргал ногой, кричал — не надо вырывать, его нужно вставить на место, пока рана свежая, всё заживёт. Но отчим был неумолим. Держа ногу, он схватил рукой торчащий кусок и потянул, чтобы оторвать, но тот не поддавался. Это озадачило его, он стал тянуть сильнее, скручивая кусок, причиняя мне адскую боль. Я кричал на весь двор, голос срывался на пороссячий визг. Боль была такая, что я был близок к потере сознания.

В какой-то момент мать опомнилась и отрезвляюще взвизгнула, чтобы он отпустил меня. Тот и сам понял, что совершает идиотские действия — не просто не оказывает помощь, а перешёл к умышленному причинению вреда, и на мгновение ослабил хватку. Но тут же опомнился: нет, доведу дело до конца, на попятную не пойду, или не я здесь хозяин.

Выворачивая кусок, он оторвал его ещё с большей плотью, сделав рану несравнимо больше.

Я упал на крыльце, не в силах шевелиться. Соседи по бараку стали подходить, спрашивать, в чём дело, но я не мог произнести ни слова.

Мать принесла зелёнку и залила её прямо в образовавшуюся дырку. Ногу свело конвульсией от острой боли, но мне уже было почти безразлично — тело дёргалось само, я был полностью опустошён. Она замотала рану куском простыни и сказала пройти в комнату, лечь, но я остался на крыльце, не открывая глаз, пытаюсь справиться с дёргающей острой болью, которая долго не унималась.

Пролежав на улице какое-то время, я кое-как перебрался в дровяник ещё засветло. Забился в угол, где от сырости земля стала чёрной, и сел на корточки, спиной к стене, чтобы видеть щель между досками — узкую, с паутиной. Небо было тяжёлое, сентябрьское. Тучи висели низко, наваливались на крыши, на лес, на гниющую картофельную ботву, которую никто не убрал. Дальше, за огородом, стояла стена леса. Чёрная, плотная, она дышала холодом.

Я сжимался, чтобы стать маленьким. Чтобы вернуться туда, где дед сажал меня на колени, бережно обнимал, целовал в макушку и говорил: «Тятя мой». Он называл меня своим тятей, потому что так звали его отца — Данилом. Дед называл меня так, упёршись, даже после того как мать объявила, что уже дала мне имя — Андрей.

Я закрывал глаза и пробовал войти в тот дом, где пахло печёной в духовке картошкой и бабушкиными шаньгами, где дед, надев очки, степенно и умело готовил суровую нитку — дратву, обрабатывая её куском чёрного гудрона для подшивки валенок. Рядом аккуратно лежали инструменты: нож, кусочек мела для разметки стелек, шило и крючок. Дед был во всём точным и по-армейски аккуратным. От него веяло силой, надёжностью и теплом. Внешне он, фронтовик-разведчик, был суров, немногословен и немного угрюм, но я чувствовал — он живой и тёплый. Для меня не было человека роднее.

После моего рождения мать заболела, её надолго положили в больницу, увезли далеко в краевой центр. Я остался у деда с бабушкой, и именно они выходили и вырастили меня — коровьим молоком, своим жизненным опытом. Дед заменил мне родителей. Этот немногословный человек с тяжёлой судьбой, прошедший всю войну, вплоть до русско-японского противостояния в сентябре 1945 года, стал моим наставником, учителем и духовным проводником.

Воспитывал он меня строго, по-суворовски, по-солдатски. «Не давай себе слабину. Не жалей себя — жалость расхолаживает мужчину. Если худо, представь, что ты в бою, в боевой обстановке. По-другому не будет. Твоя задача — выжить. Тело само знает, как действовать, не мешай ему». Я понятиливо кивал, безусловно веря ему.

Эти мысли промелькнули мгновенно, как весёлый лучик в печной дверце, обдав теплом. Но здесь не было тепла.

Холод поднимался от земли, пробирал сквозь штаны — единственные, протёртые на зад, которые я зашивал каждую ночь.

Я открыл глаза. В щели болталась паутина.

Однажды мы с дедом пришли провести родителей. Те спали пьяными.

Дед был приятной внешности: широковатые скулы, строгие черты лица, невысокий рост компенсирован отличным сложением, аккуратно острижен, всегда прилично одет, обувь начищена до блеска.

Увидев их спящими, он прошёл в стайку, где стояла корова Марта — чёрная, с белым пятном на лбу. Она стояла у сарая худая, с поджатыми боками. Её не доили, не выгоняли, не кормили. Дед отдал её дочери и зятю, надеясь, что хозяйство возьмёт родителей за горло, заставит одуматься, перестать пить. Но они пили. Корова бродила сама по себе.

Дед тут же что-то подсобрал и покормил животное, снял пиджак, повесил на калитку. Как мог, подоил скотину, накормил и кота Котофея, который сидел рядом с сараем, жалобно глядя на происходящее.

Мне, маленькому мальчику, передалось состояние деда: его непонимание, ярость и отвращение к тому, что его дочь катится в бездну. Он был бледен, безмолвен, чувствовал адскую пустоту и бессилие. Управившись кое-как с хозяйством, он молча взял меня за руку, и мы всю дорогу шли в тишине. Я понимал, что нужно молчать — что тут скажешь. Придя домой, бабушка почувствовала неладное. Считав состояние деда, промолвила несколько утешающих фраз, но оставила его в покое. Дед удалился в дальнюю комнату и долго молча сидел на стуле в глубоком забытии.

А дальше произошло предсказуемое. Марта в один из дней запуталась в проволоке, когда бродила по улицам, едва не задавилась под собственным весом, и её зарезали — пока она была ещё жива.

После этого скота больше не держали. Огородом не занимались. В доме у деда, где я жил всегда, всё было своим — молоко, мясо, яйца, соленья. Здесь же, куда я теперь перешёл жить, не было даже хлеба.

Будучи мальчиком, я не задумывался, насколько родным и нужным был для меня дед, насколько он заменял всех взрослых. Потом, гораздо позже, я понял, что вселенная заботится о каждом из нас и возвращает беспомощного ребёнка, давая возможность выжить. Для меня таким человеком был дед.

Я закрыл глаза снова. Сидел на земле, согнув одно колено, упершись спиной в стену. Больная нога была вытянута, её дёргало. И тогда внутри начинало расти. Сначала тепло, потом жар, потом — ком, который невозможно проглотить. Он поднимался к горлу, и я зажимал рот рукой, чтобы не закричать. Но крик всё равно выходил. Из носа, из глаз, из всего тела.

Я начинал раскачиваться. Вперёд-назад. И шептать:

— Деда... Дедочка...

Из соседней квартиры тянулась музыка. У младшего сына дяди Васи, Игоря, был катушечный магнитофон и пара катушек, одну из них он крутил беспрестанно. «Улыбнитесь, каскадёры, мы у случая прекрасного в гостях!» — пели «Земляне».

Потом — «Земля в иллюминаторе». Голос был бодрый, а здесь, в волглom дровянике, он звучал насмешкой. Никакой земли в иллюминаторе не было. Была земля под ногами — мокрая, вонючая. И не было никакого «Как сын грустит о матери». Я не грустил по ней. Она там — пьяная, злая и бесчувственная. Было только это: боль, стена леса, гниющая ботва, низкое небо и песни, которые играют, потому что всем всё равно.

— Деда, родненький... где ты? Ты обещал вырастить меня до армии... Забери меня. Забери, пожалуйста.

Я знал, что он мёртв. Я был на его свежей могиле. На похороны из-за пьянки родителей мы не успели. Но здесь мёртвое становилось живым.

— Я не могу... У нас хлеба нет. Совсем. Штаны одни. Дети плачут, она пьяная, а он её бьёт, а я старший, ничего не могу... Забери меня.

Слёзы текли в рот, в горло. Я раскачивался сильнее, почти ударяясь затылком о доски.

— Ты меня тятёй звал. А теперь где ты? Я здесь один. Совсем один.

Магнитофон заводился по новой. «Земля в иллюминаторе» звучала как мантра в сотый раз, и в этой песне было что-то такое, от чего хотелось выть. Я зажал уши, но музыка ввинчивалась в голову. Я упал на бок, скрутился калачиком. Земля принимала меня, как принимает всё, что перестаёт держаться.

Я плакал уже без звука. Только дрожь шла по спине, и зубы стучали.

Не знаю, сколько я так пролежал. Может, минуту. Может, час.

Но вдруг надо мной возникла тень.

Катка. Сестра. Ей было тогда лет восемь, но смотрела она так, будто она старше. Глаза злые, губы поджаты. Она стояла, уперев руки в боки, и я видел, что она знает: знает, что я здесь, знает, что я плачу, знает, почему.

— Ты чего ноешь? — сказала она. Голос негромкий, но режущий, как лезвие. — Плохо тебе?

Я не ответил.

Она наклонилась ближе, и я увидел в её глазах не жалость, а ехидство, почти злорадство — но какое-то не детское, очень взрослое.

— Здесь тебе не у деда на всём готовеньком. Не ной. Возьми себя в руки.

Она развернулась и ушла, не оборачиваясь.

Я остался лежать. Но слова её застряли во мне, как заноза. «Возьми себя в руки». Я слышал их, и они перекрывали музыку, перекрывали боль. Я вспомнил деда. Как он сидел на табурете, осматривая обувь, а я ныл, что устал, пока ходили за грибами. Он не жалел меня, относился как к равному. Он отрезал: «Сибиряк не ныть. Терпеть!»

Я лежал, смотрел в щель между досками. Магнитофон стих — лента кончилась или кто-то выключил. На огороде темнела ботва. Лес стоял чёрной стеной. Но внутри меня что-то перестало дрожать.

Я поднялся. Штаны были мокрые, повязка на ноге взялась красным, пальцы не разгибались, в горле стоял железный привкус.

Я подобрал толстую ветку, опёрся на неё, вышел из дровяника. Пошёл к крыльцу. Отчим уже храпел дома. Мать всё сидела на крыльце с папиросой, смотря в никуда. Я не сказал ей ничего. Зашёл в дом, достал из тумбочки дедов орден Славы — единственное, что осталось — и положил его под подушку.

Потом лёг и закрыл глаза.

Спать я не мог.

Но плакать больше не было сил.

Я И СЕЙЧАС ТЕБЯ ПОМНЮ И ЖДУ

Он первым показал мне, что настоящая дружба бывает. Не в книжках. Не в сказках. В жизни. И это была собака.

Его привёз дядя Петя Гужимов — давний друг деда. Из деревни Прохладный, в одиннадцати километрах от нашего посёлка.

Дядя Петя работал в лесхозе. Иногда приезжал в контору, что была почти напротив нашего дома, и всегда заезжал к старому другу.

Он был огромным сибиряком. Густая лопатой борода. Широкие плечи делали нашу кухню тесной. Хромал на одну ногу. Говорил громовым басом. И так же громко, протяжно хохотал.

Дед был невысоким, идеально сложенным, поджарым. Фронтвик-разведчик. Внешне они казались Давидом и Голиафом. Но когда они стояли рядом — от них исходила такая сила, будто вдвоём они стоят целого войска. Фронтвики. Друзья с молодости. Понимали друг друга без слов.

Дед Мороз — подумал я, впервые увидев дядю Петю.

Он подкидывал меня пушинкой вверх, сажал на колени, угощал дешёвой конфетой:

— Заяц передал.

Я знал этот трюк. Но всё равно верил. А вдруг и правда? С радостью уплетал гостинец.

В тот раз дядя Петя, откашлявшись и отряхнувшись, с порога заявил:

— А я со своей душой.

Чуть отодвинул полу тулупа и достал щенка. Маленького — меньше его рукавицы. Чёрного, с белыми точками над бровями и на груди.

— Это тебе. Будет верным другом.

Я задышался от радости. Обнимал щенка, скулящего от всего нового вокруг, лижущего мои руки и лицо. Целовал и гладил в ответ.

— Как назовёшь?

Дед подсказал:

— Тарзан. Хорошее имя.

— Да, будет Тарзаном.

Мы росли вместе. Он вымахал незаметно. Стал огромным, чёрным, с белыми бровями и белой грудью. Красивый кобель. Живой, свободолюбивый.

Дед с ним не церемонился и всё норовил посадить на цепь. Тарзан признавал только деда и меня. Рано стал проявлять агрессию — охотничье начало было в нём немалое.

Тяжёлая цепь, широкий кожаный ошейник. Бесполезно. Он постоянно срывался. Убегал, дрался с другими собаками, приходил сам. Дед ругал его. Тот виновато смотрел, скалясь своей собачьей улыбкой.

Но тоже любил Тарзана. За смелость, силу и красоту.

Однажды я решил искупать его.

На улице стояла большая ванна под колонкой. Я набрал воду, бросил Тарзана туда. Он не ожидал, испугался. Я, маленький, неловко направил шланг — струя попала ему в пасть. Он захлёбывался. Спасая, оступился и сам упал в ванну.

Дед вытащил обоих. Я плакал. Тарзан, мокрый, дрожащий, смотрел на меня — уже не за себя боялся, а за меня. Мне попало от деда.

Но мы оба пришли в себя. И остались друзьями.

Мы вместе бегали по улице.

Я надевал чудом сохранившуюся фуражку дядьки-пограничника — зелёное сукно, без кокарды, висела на ушах. Отдавал под козырёк, приказывал выступать в дозор по охране границы — периметра двора. Тарзан семенил рядом, копыта, как конь, желая расширения владений.

Но за границу нельзя — баба заругается.

Зимой дед запрягал его в мои санки. Тарзан, не будучи дрессированным, спокойно дал себя запрячь. Тянул по глубокому пухляку, останавливался по команде. Я был в восторге.

Потом мы кувыркались в снегу. Ныряли, плавали. Как дети. Мы и были дети.

Наигравшись, я обнимал его за шею, смотрел в глаза:

— Ты мой лучший друг. Я всегда с тобой.

Он смотрел на меня. Потом отводил глаза, ставил лапу на плечо, лизал лицо. Я, заходясь от нежности, прижимал его к себе — он уже вымахал вдвое больше меня.

А вечерами мы сидели у будки.

Я прислонялся спиной к стене, клал руку на его широкую спину. Тарзан громко дышал, но чувствуя тишину, умирал дыхание до беззвучного. Укладывал голову на передние лапы и замирал — словно Сфинкс.

Мальчик и большая собака. Долгими летними вечерами. Смотрели на звёзды. Молчали.

Это была дружба. Настоящая. На все времена.

Глаза в глаза. Честно. Верно.

Мы понимали друг друга без слов.

Однажды он пропал.

Я вышел утром — ошейник, цепь. Собаки нет.

— Деда, а где Тарзан?

— Убежал. Побегает — придёт.

Он явился через три дня. Весь в крови. Еле живой. Худой.

Он не узнавал меня. Слабо рычал — и это давалось ему с трудом. Дед на руках донёс его до будки. Подал воду и еду. Тот не притронулся.

Ветеринара в посёлке не было — нашёлся какой-то знахарь. Влили в пасть микстуру, поставили укол.

Я долго сидел у будки. Смотрел на собаку. Не понимая, что происходит.

Наутро дед сказал:

— Тарзану стало легче. Он выздоровел и убежал.

Я побежал к будке. Она была пуста.

Я искал его по улицам. Звал. Но друга не было.

— Забудь, — сказал дед. — Возьмём нового щенка.

— Не хочу нового. Хочу Тарзана. Деда, он друг. Понимаешь?

— Не придёт, чалдонушка.

Прошли годы.

Я вырос, закончил школу. Но, идя по улице, всегда искал глазами Тарзана. Видя стаю собак, взглядом выискивал знакомый силуэт. Сходство находил, но тут же отбраковывал. Он был уникальным.

Умом я понимал: собачий век недолог. Но надежда не покидала.

Однажды, уже взрослым, осенью, я шёл у железнодорожной станции. Увидел стаю и их вожака.

Мир сжался до одной секунды.

Сердце остановилось. Я узнавал его. Тот же чёрный окрас. Белые брови. Белая грудь. Мощная фигура. Неужели?

— Тарзан! — вырвалось из меня. Громко, гортанно.словно тугая пробка вылетела.

Секунда величайшего счастья. Не деньги, не блага — друга. То, что дороже всего.

Пёс лениво бросил на меня взгляд. Чужой. Без узнавания. И стая побежала к речке. Я лишь увидел походку — семенящего чуть боком, как бегают большие собаки.

Слёзы хлынули сами.

Я понял: это был не он. И понял то, что давно знал, но не смел себе признаться. Тарзан умер тогда. Той же ночью. А дед, видя нашу дружбу, не захотел расстраивать меня. Сказал — убежал.

Я понимаю, почему он так сделал. Он хотел как лучше. Но если бы сказал правду — мне было бы легче. Да, я плакал бы. Но не сформировалась бы эта привычка поиска, полная надежды.

Этот опыт многое мне дал.

И если ты, дружище, видишь меня — знай: мы, люди, тоже умеем ждать. Годами. Как умеют ждать собаки.

Я и сейчас тебя помню и жду.

СЛОЖНЫЕ СХЕМЫ

Историю преподавала Наталья Васильевна. Молодая, высокая, стройная, чуть медлительная по-женски. Ей не было тридцати. Она хорошо играла в волейбол, носила джинсовый фартук и сапоги-дуги — все смотрели как на инопланетянку.

От неё пахло печеньем и школьным мелом. Смесь, которой больше нет нигде.

Иногда на уроке задумывалась, откусывала кусочек мела, с удивлением смотрела на него и продолжала писать. Могла замереть у доски. Класс ждал. Мы слышали, как она дышит. Это было странное, почти живое молчание.

Мне шёл одиннадцатый год. Ум пытливый, цепкий. Читал много — как любой советский школьник, который сам выбирает книги. Но учебник истории древнего мира — другой природы. Написано по-русски, а суть ускользает. «Орудия производства», «предмет труда», «предпосылки». Одно слово цепляется за другое. Смотришь в книгу — видишь фигу.

Но был и свой козырь. Я прочитал книгу про Олимпийские игры. И когда Наталья Васильевна поручила мне доклад, я обрадовался. Знал, что победителей встречали, пробивая новые ворота в городской стене. Рассказывал легко. Только руки тряслись первые две минуты. Потом отпустило.

У неё была привычка: если ученик отвечает правильно — кивает. Кивание прекращалось — значит, ушёл не туда. По этим реперным точкам можно было сверять ответ.

А потом она показала странную вещь. Взяла нудное определение про орудия производства и разбила на части. Начертила таблицу, поставила цифры 1, 2, 3, обвела кружочками. Слова сократила: «пр-ва», «изгот-ся». Сказала: «В институте пригодится». В четвёртом классе мы об институтах не думали, но идея показалась легальной халевой. «А так можно было что ли?»

Вот как это работало. Великая Французская революция. 1789–1799. Слева — предпосылки (кризис, неравенство). В центре — движущие силы (крестьянство, буржуазия). Справа — итоги (монархия свергнута). Сплошной текст превращался в схему с прямоугольниками и стрелками.

Сегодня скажут — презентация. А в середине восьмидесятых это был передовой метод.

Потом она вела обществоведение и экономическую географию. Там терминов было ещё больше. «Государство», «республика», «форма правления». Заставляла учить наизусть. Могла начать урок с проверочной: раздавала чистые листы, диктовала слова, и мы сами писали определения. Своими словами не наговоришь. Нужно знать. Чувствовать смысл.

Я тогда впервые понял, что живу в государстве. Что мы не просто дети, а скоро станем гражданами. И что нас учили уважать свою страну и другие — без нарочитой идеологии, на здравом смысле.

А потом школа кончилась. И схемы поехали со мной. Юридический институт. Высшая школа милиции. Теория государства и права — самая сложная дисциплина. Её вёл профессор Усков. Человек огромного авторитета. В начале девяностых ему предлагали войти в комиссию по разработке Конституции, но он остался преподавать. Говорил с издевкой: «Девушки, прошу не путать — элементы и алименты». Понятно? Да, нет?

На его лекциях я чертил свои схемы. Форма государственного правления «ФГП». Прямоугольник, от него три стрелочки: форма правления, форма устройства, форма власти. Вся двухчасовая лекция умещалась на одной странице. Однокурсники брали тетради списывать и не могли понять сути. Не знали терминов. Для них это были иероглифы.

Перед госэкзаменами в моей комнате в общежитии толпились ребята. Они отчаивались и просили объяснить на пальцах. Я чертил схемы. Если человеку везло — его взгляд светлел. Чаще — вежливо улыбались и уходили. Но я одновременно проверял и себя: хорошо ли понял тему, объясняя другому.

Госэкзаменов было четыре. Три сдал на «отлично». Теорию государства и права оставили на последний.

Построение. Заходит первая шестёрка. Я в ней. Вытягиваю билет. Черчу схему. Через двадцать минут сзади тычут карандашом. Оборачиваюсь. Парень, едва знакомый. Не с общаги. Местный. Лицо красное, дышит так, будто только что бежал.

— Посмотри. Горю. Вообще не понимаю.

Читаю его билет. Накидываю схему. Он хватает карандаш, чтобы записать, и ломает грифель. Переписывает дрожащей рукой. Отвечает третьим. Комиссия молчит. Усков: «Вопросы? Оценка „хорошо“».

Я не поверил. Усков не ставит «четвёрку» за красивые глаза. Парень сам признался, что не понимал вопросов билета. Хмыкнул про себя.

Отвечаю пятым. Говорю чётко, без пауз. Про Польшу, про государственное устройство. Закончил. Несколько вопросов. Голос Ускова:

— «Удовлетворительно».

Тройка.

В коридоре тот парень трясёт мне руку. Узнав про тройку, хрипит: «Как так?»

Построение. Объявляют: все сдали, все — юристы. «Кто не доволен оценкой?»

— Я, — слышу свой голос.

Тишина. Никто за всю историю института не подавал апелляцию на ТГП.

— В чём дело? — Усков берёт себя в руки первым.

— Готов без подготовки ответить на любой билет.

— Пишите заявление.

Назначили расширенную комиссию. Я зашёл, вытянул билет. Начертил схему. И тут — слёзы. Мешали, я смахивал. Справился. Ответил жёстко. Усков задал дополнительный вопрос — ответил. Второй — ответил.

— Можно ваши записи? — попросил. Протянул. Он изучал мои прямоугольники и стрелки.

— Что же вы на лекциях молчали?

— Я вас внимательно слушал.

— Хм. Но отлично не поставлю. Будет нелогично после тройки. Как считаете?

— Наверное, нелогично.

— «Хорошо». Схемы оставляю себе.

На следующий день на построении начальник института поднял над трибуной мой истрепанный лист. Сотня молодых офицеров смотрела на эту бумажку. На вручении дипломов он снова остановился на этом случае. Долго.

Через двадцать лет на встрече выпускников школы мы пригласили учителей. Я встал с тостом. Благодарил каждого за конкретный метод, который забрал с собой в жизнь. Когда дошёл до Натальи Васильевны, рассказал про откусанный мелок, про проверочные, про то, как её схемы помогли выдержать бой с профессором.

Она плакала.

Потом подошла, спросила: «А схемы те самые у тебя остались?» Я полез в сумку, достал институтскую тетрадь и несколько служебных докладов. Готовился.

Она быстро уловила, где мой почерк, а где её. И стала кивать. Как раньше.

Подошли наши дети — новое поколение её учеников. Один мальчик ткнул пальцем в мое сокращенное «ФГП» и спросил:

— А это что за зверь?

Наталья Васильевна улыбнулась. Я ответил:

— Это твоё будущее. Если повезёт с учителем.

Они листали конспекты. Я смотрел на них и кивал головой. Как Наталья Васильевна.

ЗДОРОВОМУ СПОРТ НЕ НУЖЕН

На селе труд — не воспитание. Труд — это воздух. Им дышишь, не замечая.

С утра — протопить печь. Потом за водой — колонка за три улицы, ведро на коромысле, плечи оттягивает до хруста. Дрова: привести, наколоть, сложить в поленицу. Зимой — снег по пояс, лопата стонет. Кряхтишь и сам. Летом — огород: грядки, полив, прополка, сбор, закатка.

В субботу — баня. Навозить воды, натопить, помыть детей, напариться до кругов в глазах. С разбегу — в сугроб.

В воскресенье — крышу подлатать, забор поднять, парник сколотить. Тряпочные перчатки сплошь дырявые, но уютные. Смешно смотреть.

К обеду умотаешься. Упадёшь на ковёр — двадцать минут сна, глубочайшего, как смоль, и хватает дотемна. Встаёшь — будто заново родился.

Работник не только ты. Делом занята вся семья. Старшие, младшие — все в деле. День год кормит, и никто это не забывает.

Наприседаешься, нанаклоняешься, намахаешься руками. Пресс качается сам. Строен как кипарис, щёки — яблоки, загорел лучше, чем на юге. Ладони в мозолях — но мужчине полезно.

Дед говорил: глаза боятся, руки делают. Это да. Воз дров. Косишься на свежие чурки. Ежишься. Солнце встало. Утро. Колун. Банка с морсом. Вечер — дрова в аккуратной поленице. Подметаешь щепки. Солнце садится. Вечер.

Дед учил всему. Не лекциями — делом. Видит, как я натужно поднимаю мешок с картошкой, кряхчу, надрываюсь. Останавливает.

— Куда прёшь на пупа? Надсадишься. Делай так.

Присел. Принял на спину. Распределил вес. Не в поясницу — в ноги.

И правда — легче. Удобнее. За минуту — урок на всю жизнь. Я до сих пор так мешки поднимаю. И детей учу.

К двенадцати годам я понимал, как стелить пол, крыть крышу, рубить сруб. Умел обращаться с ножовкой, рубанком, молотком. Игрушки для войнушки — сабли, мечи, пистолеты, автоматы, даже пулемёт «Максим» — всё своими руками. Сначала коряво. Потом приходит вкус. Насмотренность.

Возраст для войнушки — лет с шести до десяти. Это и есть школа мастерства. Ты не замечаешь, как учишься. Просто хочешь, чтобы автомат был похож на настоящий. Чтобы друзья сказали: «Давай меняться!»

Утром перед тобой доска. Остругал рубанком — чистый лист. Осмотрел на сучки. Мысленно прикинул: на автомат хватит, ещё и на пистолет останется.

Чертишь эскиз. Высунув язык, правишь, пока сам не полюбишь нарисованное. Ножовкой с мелким зубом — не спеша, по контуру. Доска под рукой тёплая, живая. Ведёт себя податливо. Иногда строптивится.

— Сейчас, баба, иду! — отзываешься на обед.

Глотаешь, не жуя. Бежишь. Мир схлопывается. Нет ничего — только ты и доска. Руки сами знают, что делать. Глаза сами видят, где срезать лишнее.

Чистка, шлифовка. Лёгкий обжиг на костре — запах палёного дерева, как в настоящей мастерской. Лак — и дерево начинает светиться изнутри. Ремешок и скобы для солидности.

К вечеру автомат за спиной, пистолет в кобуре. Идёшь по улице — пацаны оборачиваются. Завидуют.

Правда, указательный и большой пальцы левой руки забинтованы часто. Дед мажет зелёной, ворчит: «Терпи, паря. Взялся за гуж...». Дую на рану. Но доволен. Оно того стоило.

В школе уроки труда вёл Юрий Борисович.

В четвёртом классе он был молодой — лет тридцать, не больше. Крепкий, коренастый, напористый. Скуластое лицо, глаза — буравчики. Двигался резко, будто всюду опаздывал. И голос — звонкий, командирский.

Острозыкий — это мягко сказано. Нарцисс, наглый, хамоватый — говорили про него многие. Обидеть словом — запросто. Кто подойдет с заготовкой, а он: «Ну, горе-мастер, покажи, чему тебя дома учили». Класс хихикает.

Я держался подальше. На всякий случай.

Но лихой мужик — это точно. Шумный. С придурью. Всё вокруг него крутилось. Зайдёт в помещение — воздух начинает звенеть.

Сначала мастерская была в здании школы, рядом с классами. Циркулярка звенела — уроки через коридор никто не слышал. Потом под труды отдали отдельное здание — бывший цеха. И Юрий Борисович развернулся.

Я до сих пор помню, как зашёл туда в первый раз.

Два цеха. Деревообработка — запах стружки, смолы, большие окна. Металлообработка — холодный блеск станков, железные болванки. Токарные и слесарные станки — настоящие, взрослые. Светлый класс с верстаками, на каждом — тиски. На стенах — плакаты по технике безопасности: как держать рубанок, как не отрезать палец, как не ушибиться. На стойках — рубанки, фуганки. На стене — ножовки, молотки, киянки, стамески.

Всё по-армейски. Чисто. Аккуратно. Эргономично — я этого слова тогда не знал, но чувствовал: здесь всё на своих местах.

На входе — рабочие халаты. Синие, грубые. Мятые, но чистые. Пахнут крахмалом. Инструменты получали под запись — в журнале, как в библиотеке. Сломаеть — не ругал. Но смотрел так, что хотелось провалиться. Моргал медленно, тяжело, как филин. И молчал.

Мы знали: он нагоняет жуть нарочно. Но страшно было. А потом, когда отходили, он уже чинил. Мог паяльником, мог сваркой, мог просто руками — но к следующему уроку станок работал.

Работали на школу. Парты чинили, табуретки. Для себя делали скворечники, разделочные доски, скалки — мамам подарки. Постарше — деревянные макеты АКМ.

Хороший макет — дело непростое. Там каждая деталь: ствол, цевьё, приклад, магазин. Планка прицела. Газоотводная трубка. Трудовик показывал чертежи — настоящие, из военного учебника. Мы вглядывались, сопели. Не всё получалось. Но он не спешил. Ждал.

Юрий Борисович не хвалил. Вообще. Если хвалил — это было событие. Как заслуженная медаль — редко, но весомо.

Приношу на проверку макет АКМ. Долго мастерил – выпиливал, шлифовал. Приклад отдельно делал — три раза переделывал.

Он берёт в руки. Молчит. Брови сдвинуты. Крутит так и этак. Поворачивает к окну. Рассматривает стыки.

Я стою. Сердце колотится.

— Слушай, — говорит он тихо, не поднимая глаз. — А у тебя получилось ювелирное изделие.

Я запомнил это на всю жизнь. Не потому, что хотел похвалы. А потому, что он не врал. Он вообще не умел врать. Если было плохо — говорил: «Переделай». И ты переделывал.

Дед учил меня труду. Юрий Борисович научил, что труд может быть красивым. Что аккуратность — это уважение не только к делу, но и к себе.

Через несколько лет он ушёл из трудов. На смену пришёл другой.

Я не помню его имени. Мягкий, добрый, никакой. Ездил на двадцать четвёртой «Волге» — по тем временам круто. Но мастерская умерла.

Грязный класс. Сломанные инструменты. Вечно пьяный «учитель» за столом. Рядом в шкафу — трёхлитровая банка с брагой. На столе — крошево ломаного хлеба.

Мы заходим на урок. Он сидит, лыка не вяжет. Глаза мутные. Пытается что-то сказать — выходит нечленораздельное.

Меня трудно было удивить. Но смотреть на это было больно. Школьный учитель — небожитель. Истина в последней инстанции. А тут — крошево хлеба. И тишина.

Я тогда впервые подумал: учителя — тоже люди. Тоже ломаются. Тоже падают.

Юрий Борисович к тому времени уже вёл начальную военную подготовку. И делал это блестяще.

В конце восьмидесятых учителям НВП выдали форму. Настоящую, армейскую.

Юрий Борисович ходил в офицерском мундире, с общевойсковыми петлицами, старшим лейтенантом. Форма сидела на нём — загляденье. Он будто вырос на полголовы. Грудь колесом, шаг упругий.

Я смотрел и думал: вот человек, который нашёл себя.

Он не был оратором. Словарный запас — армейский, с матерком, который он прятал за смешком. Но программу доводил чётко. Программу — знал наизусть. Оружие — разбирал и собирал с закрытыми глазами.

Хохмил, ерничал. Порой запоёт:

— Смело мы в бой пойдём...

— И мы за вами!

— И как один умрём...

— Мы не туда попали, — заканчивает Юрий Борисович и ржёт.

Мы сидим с каменными лицами — старшеклассники. Кто уже и бреется. Важные. Ему хоть бы хны. Пучит глаза. Берёт напором. Не смущается.

И мы потихоньку оттаивали.

Преподавание труда и НВП — вот его призвание. Здесь он был на своём месте. Как мой дед в своё время — на своём. Я это чувствовал даже тогда, ребенком.

Но кипучей натуре Юрия Борисовича было тесно. Очень тесно.

Он видел себя директором. Это чувствовалось за версту. Каждое выступление на линейке, каждое замечание, каждая выходка — всё работало на имидж. Он продавал себя. Дорого.

Некогда сплочённый учительский состав — самый сильный в посёлке, лучшая школа — разделился. Одни за него, другие против.

Юрий Борисович выиграл. Стал директором.

И — провалился.

Коллектив развалился за год-два. Ушли все, кто составлял костяк. Перешли в соседние школы — и за короткое время подняли там образование до небес. А здесь осталась пустота.

Я тогда подумал: важно понять своё предназначение. Он от бога был трудовик и военрук. Здесь — максимальная польза. А он полез на рожон. И остался один.

Потом, уже взрослым, я встречал его на улице. Он шёл — тень, серый, понурый. Ввалившиеся глаза, заострившиеся черты. Чуть сутулился. Ходил всё так же браво — привычка осталась, — но было видно: с человеком случилось что-то необратимое.

Остановиться и поговорить не было желания. И у него — тоже. Это считается за секунду. Не хочет человек общения — не лезь.

Но сейчас, если бы я встретил его, я подошёл бы первым.

В семье у меня профессиональных военных не было. Дед — фронтовик-разведчик. Скупом рассказывал о войне. Наглядным пособием были его награды.

Дядьки: один — моряк-подводник, тогда служили по пять лет. Другой — пограничник, три года срочной. Армейские фотографии, рассказы, байки. Я рос в этом. Впитывал.

Юрий Борисович тем временем сделал из кабинета НВП бункер. Бронированная дверь — настоящая, из металла. Внутри — учебные фильмы на кинопроекторе, плакаты с оружием, стенды по химзащите. Комната для хранения учебного оружия — туда не пускали, но мы знали.

В коридоре он повесил стенд с фотографиями выпускников, служивших в армии. Тех, кого сняли у знамени части — раньше была такая форма поощрения. Идёшь мимо и видишь — Юра из старших классов в морской форме, в бескозырке. Или Коля с погонами сержанта, в пилотке. Впечатляло. Сильно.

Он изводил нас строевой. Выход из строя, подход к начальнику, повороты в движении. «Равняйся!», «Смирно!», «Вольно!» — до зубовного скрежета. Мы ворчали. Но потом, в армии, я понял.

После девятого класса нам выдали солдатскую форму — гимнастёрки, пилотки, сапоги. На две недели вывезли на военные сборы. Подъём, зарядка, отбой — всё по расписанию. Юрий Борисович был с нами. Командовал. И — странное дело — мы его слушались. Без пререканий.

Он превратил школьный двор в полосу препятствий. Бревно, забор, рукоход, окопчик. Сделал стрелковый тир — настоящий, с мишенями и пулеулавливателем.

Мы стреляли из мелкокалиберных винтовок ТОЗ-8. Там я научился дышать во время выстрела. Плавно спускать крючок. Не дёргаться. Это целая наука — не только про стрельбу.

Перед столовой он с физруком повесил турник. Объявил: без подхода к турнику — не есть. И стоял рядом, скрестив руки.

— Здоровому спорт не нужен, а хилому даже вреден, — говорил он, подначивая. — А вы, орлы, я смотрю, все здоровые. Давайте, давайте.

Мы смеялись. Выражение глупое, нелогичное, яркое. Запоминающееся. Мы приняли правила. Потом дело понравилось. Около турника всегда толпились пацаны. Счёт подтягиваний, выходов силы, подъёмов с переворотом — звучал постоянно. Соревновались.

В армию я пришёл готовым.

В учебной роте командиры с первого взгляда всё поняли. Подтянулся тридцать раз — не спеша, чисто. Тут же выстроились командиры рот и взводов. Заполучить в подразделение.

Попал в лучший взвод. Стал командиром отделения. Сержантом.

В девяносто втором вернулся. Нищета, разруха, работы нет. В компании у одноклассника, тоже дембеля, кто-то сказал: «Попробуй в правоохранительные органы. У тебя получится».

Я попробовал. Получилось.

Связал судьбу с погонами, формой, госслужбой. Стал прокурором. Дослужился до старшего советника юстиции — это полковник.

И иногда я думал: кто знает? Не претендуй Юрий Борисович на директорство — может, принёс бы больше пользы. Глядишь, кто-то из нас стал бы генералом. Или адмиралом.

Но это сослагательное наклонение. История его не знает. Да и мудрецы говорят: всё вовремя, всё на своих местах. Значит, нужно было. И ему — тоже.

Встреть я его сегодня, я подошёл бы первым.

Пожал бы руку — сухую, жилистую, с мозолями, как у деда. Заглянул бы в глаза — те самые, моргающие, как у филина.

Сказал бы:

— Спасибо, Юрий Борисович.

За уроки труда. За НВП. За турник. За «ювелирное изделие». Я успешно отслужил. Сделал карьеру. Ваши уроки помогли. Я знаю, у вас были трудности. Жизнь не была лёгкой. Вы, может, ошибались. Но вы делали своё дело. Делились опытом. Мы ценим это.

Так бы я сказал.

Надо бы заняться спортом, — размышляет у зеркала жена.

У неё прекрасная фигура. Она никогда не занималась.

— Здоровому спорт не нужен, а хилому даже вреден, — парирую я.

Смеётся. Я тоже.

Я смотрю на ящик с игрушками внука. Там — красивые пистолеты. Пластмассовые, блестящие, с красными лазерами. Ничего общего с теми, что я выпиливал из досок.

Милый трёхлетний мальчик сидит на ковре. Увлечённо возит машинку. Пистолет лежит рядом — забытый.

— А физкультура и спорт, конечно же, полезны всем, — говорю я себе под нос. — Даже здоровым.

Пауза.

— Отожмусь, пожалуй.

Я опускаюсь на пол. Кулаки на ламинат, спина прямая.

— Всеволод, — зову внука. — Давай вместе.

Он подбегает. Встаёт рядом на маленькие кулачки — серьёзно, сосредоточенно. Пытается повторять. Губу прикусил.

Ручки крепкие. Я чувствую это по тому, как он упирается.

Смотрю на него. Моргаю медленно, тяжело — как филин.

Только теперь не страшно. А смешно.

Он моргает в ответ.

И мы начинаем.

ТРИ ЗНАКА

Александр Эдуардович появлялся в спортзале после звонка. Темно-синий костюм с тремя полосами. Кроссовки с теми же полосами. Лысеющий, но это его не портило. От него пахло лыжной мазью и потом — запах, который не спутаешь ни с чем.

В обычной одежде — невидимка. В спортивной — волшебник.

Пол в зале красили каждое лето. Разметку обновляли. Мячи, лыжи, снаряды — выдавал и принимал лично, близоруко шурясь, выискивая каждую трещинку. Рядом с залом устроил мастерскую. Там чинили, смолили, строгали. Он вёл физкультуру с четвёртого по десятый, спаренными уроками. Зимой — лыжи. Лыжня за семь километров от школы. Утром он уже в красных югославских «Ботасах» и синей шапочке с белой кисточкой. Отзанимался с одним классом — тут же следующий. До двух часов дня. В два — секция. Мы бежали дальше, на стрельбище. Там гора подъёмом под восемнадцать градусов, два километра вверх.

Как он везде успевал — не знаю. Лицо обветренное, красное. Но всегда с нами. Показывает, поправляет, дышит в спину.

— Ребята, будущее за коньком, — сказал он однажды. Тогда коньковый ход был ещё новостью по телевизору. Сам оттачивал. И нас учил.

В поселке стояла бригада внутренних войск. У них было стрельбище и лыжня. Эдуардыч договорился — нас ставили на военные соревнования незачётно. Мы смотрели, как взрослые мужики влетают в нашу гору «на руках». Учились. Разница между деревянными лыжами и первыми пластиковыми была как между телегой и машиной. Когда он вручил мне одну из тех пар — я гордился. Загордиться не дал.

— Утром прибежать раньше всех, — сказал. И добавил про лёгкую куртку, когда на улице минус двадцать пять: — Стиляга. Заболеешь — на турнир не поедешь.

Не поехал. Соревнования отменили. Пронесло.

До сих пор бегаю на лыжах. Лет пять назад на ведомственных соревнованиях ко мне подошёл начальник с югов. Молодой. Увидел, как я финиширую, и попросил:

— Дай попробую. Я на горных хорошо стою.

Я предупредил. Он настоял. Снаряжение дорогое, но если сломает — купит. Я снял ботинки, надел обычную обувь, помог ему встать на лыжи.

Он сделал шаг — и упал на спину, как в айкидо. Встал. Ещё шаг — ещё падение. Лицо красное, снег на куртке. Дочь-подросток смотрит. Коллеги. Он не сдавался, пока мог. Потом снял лыжи и больше не просил.

Позже я объяснил: то, что мы летим как птицы — это годы. Каждый сезон начинаешь заново. Мышечная память включается через две недели.

Эдуардыч учил этому методично, терпеливо. В школе он был игровиком. Баскетбол, волейбол — шустрый, с прыжком. Школьная команда долгие годы была лучшей в округе. Спустя десятилетия он тренировал моего сына — и снова кошмарил район. Мальчика всерьёз рассматривали в спецшколу по баскетболу. Не поехал. Мамкины котлеты оказались сильнее. Эдуардыч тогда сказал: «Слабák. Но баскетболом район всё равно задушит».

Иногда мы просто садились на скамейки, а он доставал вырезки из газет, фотографии. Рассказывал про олимпийских чемпионов. Мы выходили после таких уроков заряженнее, чем после недели тренировок.

Восьмой класс. Общешкольная линейка. Мне вручают первый золотой знак ГТО. Вручает Эдуардыч. Торжественно. Как министр спорта.

1989 год. Окончание школы. Второй знак. Снова он. Снова как министр.

А потом он стал пить.

В стране излом. В душах излом. Сломался и физрук.

Через несколько лет я зашёл в школу после армии. В его мастерской — старшеклассники. Скворода, жарят сало. На табуретке сидит Эдуардыч. Он ещё не пьяный, но с пустыми глазами. И говорит:

— Слушай, а ты помнишь ту гору на стрельбище? Я сейчас туда даже не дойду.

На столе — бутылка спирта. Я не ожидал. Было стыдно и больно. Они поняли. Взяли мяч. Мы вышли покидать в кольцо. Больше я туда не заходил.

Потом встречаю его на улице.

— Купи волейбольный мяч. Новый.

Достаёт «Галу». Цена в магазине известна. Он просит в два раза больше.

— Эдуардыч, я куплю. — Протягиваю деньги. — Я помню всё. Но впредь не предлагайте мне больше. Мне это неприятно.

Он на секунду прозрел. Взял деньги и пошёл.

Семья у него была хорошая. Жена — учитель физкультуры в младших классах. Двое детей. Но кто такое долго терпит?

Потом его назначили заведовать поселковым спорткомплексом «Локомотив». Состояние было убитое. Он возродил его. Как птица Феникс. Сделал ремонт, открыл секции. Жизнь закипела.

Не дали развернуться. Комплекс передали другому ведомству. Назначили нового заведующего. Эдуардыч остался не у дел. Вернулся в школу. Вёл баскетбол. Сделал чемпионом района моего сына.

Однажды попросил меня выступить за железнодорожников. Я согласился. Поехал. В гостинице команда во главе с тренером напилась, подралась. Кровь, скорая. Я выступил. Но больше не связывался.

Пусть то, что осталось — церемония. Где он вручает мне знак. Дважды. Как министр.

Никто из нас не стал большим спортсменом. Но любовь к спорту он привил прочно. На поселковых соревнованиях я часто вижу его бывших учеников. Бегают на лыжах. Играют в волейбол. Взрослые дядьки.

Он говорил: «Я хочу, чтобы вы были готовы к любым событиям. По принципу: дайте мяч — скажите, во что играем». Мы смеялись. Но так и получилось.

Недавно в стране возродили ГТО. Я сдал. Кросс, пресс, подтягивание — не напрягаясь. Вручили третий золотой знак. В красивой бархатной коробочке. Церемония пышная. Вручал министр спорта края. Пожал руку.

Я стоял в строю и думал: Эдуардыч мог бы стоять здесь. И вручить этот знак сам.

КАК И МЫ ПРОЩАЕМ ДОЛЖНИКАМ НАШИМ

Ноябрь 92-го. Я демобилизовался из армии. Страна рушилась. Цены росли каждый день. Зацепиться было не за что. Мне предложили пойти в транспортную милицию. Дед — фронтовик-разведчик. Сам я только# вернулся сержантом. Сказал — да.

Начальник линейного пункта Александр Иванович принял радушно. Через две недели я стажировался, ещё через две — вышел в смену. Он был хорошим человеком. Я никогда не слышал от него грубого слова. Но он пил. И пил на работе.

Начало 90-х. У многих слетели самоограничения. Полился денатурат. Страна разваливалась на глазах. Сначала Александр Иванович пил за закрытыми дверями, с опером Павлом. Павлик был молодым, наглым, беспринципным. Именно из-за таких людей общество недолюбливало милицию. Я старался обходить его стороной. Хотелось ударить его при одном виде, шатающегося пьяным в одних носках по улице, по кабинетам, — за то, что спаивал начальника, позорил погоны.

Потом пьянки стали открытыми. Мне передали: они стреляли по стенам из табельных. Я подошёл к стене — выключатель разбит пулями, провода соединены напрямую. В сантиметрах от входной двери. Дежурка была смежной с кабинетом начальника. Я предложил перенести её в другой кабинет. Он дал добро. Пьянки не прекратились.

Вторая половина мая. Одиннадцать вечера. Я собирался выйти на перрон — объявили пассажирский.

Выхожу на крыльцо. Вижу Александра Ивановича и Павлика. Оба в сильнейшем опьянении. В руке начальника — табельный пистолет. Он целится в фонарь на перроне. Шатает. Они стоят в пяти-шести метрах. Я на высоком деревянном крыльце. За мной — дверь в дежурку. На перроне полно народу. Они в секунде от трагедии.

— Вы что, блядь, делаете? — вырвалось у меня.

Начальник повернулся. Лицо красное, глаза красные — ничего не соображает. Скривился в звериной гримасе. Кто посмел отвлечь? Шатаясь, навёл на меня пистолет. И начал стрелять. В упор.

Ствол смотрит прямо. Я вижу вылетающие огни. Маленькие взрывы. Чувствую запах пороха. Вижу дым.

Первый мощный одёргивающий удар — в правую руку. Второй — в левую ногу. Это не толчок — бьющее, беспощадное прожигание. Что-то ломающее, колющее вонзается в тело с такой силой, что сопротивляться невозможно. Я — внутри стрельбы, свинец летит в меня, это происходит со мной. Так, вот как всё заканчивается — последнее, что мелькает.

Время схлопывается. Тоннельная темнота. Пустота и тишина. Нет ни прошлого, ни будущего. Едва слышу свой выдох. Застыл в этой секунде. Сейчас — только она. Это время — бесконечность.

Начальник, оскалась, стреляет снова и снова. Пули летят в дверь — туда, где мгновение назад были моя голова и тело.

«Человек так не поступит, такое не от людей», — промелькнуло где-то уже совсем в стороне.

Как тряпичную куклу отбрасывает с крыльца. Высота — метр, не меньше. Падаю на остатки угля. Удар о камни. В голове одна мысль: «Всё». Темнота. Ни дыхания, ни сердца. Вечность.

Очнулся на углях. Лежу. Истекаю.

Мысль: «Жив?»

Открываю глаза. Вижу. Дышу. На зубах — угольная пыль и металл. Во рту — привкус пороха, но сплюнуть нечем. Полное отупение. Боли нет, левой ноги и правой руки не чувствую. Пронеслось — да какая разница, после обоймы не выжить. Всё отпускаю — дело времени, осталось несколько секунд, они не в счёт.

«Господи, что же будет с ними», — бритвой пронзила мысль. Жена беременна. Шестой месяц. Одна в университетской общаге. Рожать и год ещё учиться. Самому сдавать вступительные в институт. Назначена дата. А я убит.

Минута прошла: начинаю слышать своё дыхание и остальные звуки жизни. Появляется дикая боль и жжение. Невыносимая жажда.

Пальцами левой руки касаюсь головы, груди, живота — целы.

«Жив. Дальше что?»

Нужно вызвать скорую. Никого нет. Эти двое убежали. Кричать не могу — лёгкие сбиты. Ползу на крыльцо. Дотягиваюсь до двери. Открываю. За мной — чёрно-красный след от угля и крови. В дежурке доползаю до стола. Советский телефон-дисковый. Вспоминаю код выхода на посёлок. Набираю.

— Скорая? Меня подстрелили. Железнодорожный вокзал. Линейный пункт.

— Держитесь, выезжаем.

Минуты тянутся. Перед скорой приходит офицер розыска из воинской части — они дежурили на вокзале. Увидел меня — ему стало плохо. Стошнило. Приехавшим врачам пришлось откачивать и его.

Врачу скорой сую ключи от сейфа:

— Передайте начальству — там зарплата милиционерам. Днём получил в отделе, не успел раздать. Обязательно передайте.

Быстрый рентген. Яркий свет операционной. Хирург-казах. Долго возится. Пуля — по касательной, в бедренной кости. В ткани не ушла. Нашупал быстро. Бряц — в ванночку. Вторая зашла в верхнюю часть предплечья, ближе к локтю — руку машинально поднял, защищаясь, — сломав кость, ушла по тканям ближе к кисти. Доктор долго её ищет, разговаривает с куском свинца, как с живым. Бряц — вторая.

— Руки ещё помнят. Куда ты денешься, родная, — бубнит себе под нос. — Чувствительность не потеряна.

Медсестре: — Шейте, накладывайте гипс. Многооскольчатый перелом бедренной кости и предплечья. — Антибиотики каждый час.

Помощь вовремя. Операция прошла штатно. Звук бряцающих пуль стоял в ушах. Но это была жизнь. Я дышал.

Накануне я видел сон. Покойный двоюродный брат протягивает руку: «Покупай дом деда. Заключим договор». Я качаю головой: «Не нужен мне дом. И руку жать не буду». Понял позже: пожми — исход был бы другим.

В шесть утра явились они. Оба пьяные, помятые, напуганные. Разит перегаром. Но в глазах — первые проблески понимания. Начальник рухнул на колени у моей койки. Головой уткнулся в тело. Зашипел, завыл пьяным голосом:

— Не сади! У меня семья, дети. Прости! Не губи! Посадят — всё!

Слёзы текли на больничное бельё. Он мотал головой, заламывал руки. Павлик стоял рядом, молчал. Потом, когда начальник затих, Павлик заговорил. Цинично, деловито:

— Слушай. Виноваты. Не губи. Давай так: придет следователь — скажешь, получил ранение при преследовании нарушителя. Тот скрылся на поезде.

Я не поверил. Насколько человек может быть бессовестным?

— Ерунда, — сказал я. — Никто не поверит. Врать не буду. Прямой вопрос — прямой ответ.

Начальнику сказал:

— Просьбу твою принимаю. Не садить, не губить. Но лечение оплатишь. А за следователя не отвечаю. Как будет, так будет.

— Идите. Не до вас.

— Может, апельсин?

— Идите оба. Знаете куда.

Оба шмыгнули за дверь.

Часам к одиннадцати пришёл следователь.

— Я в курсе, что вы преследовали неизвестное лицо, — начал он.

Дальше — слово в слово, как учил Павлик. Начальство объяснило всё со знанием дела. Он записал моё объяснение. Ни постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, ни какого-либо другого документа я не видел. Они избежали ответственности.

«Прости им, ибо не знают, что делают».

После больницы я показал начальнику чеки за лекарства. Сумма небольшая — по нынешним временам тысяч тридцать. Он передал деньги через Павлика, под расписку. Через некоторое время мне сказали: он осудил меня. Мол, нажился за его счёт.

Я не поднимал этот вопрос. Они отводили глаза, обходили за километр. Мне было не до них. Я восстанавливался. К осени вышел на пик формы.

В посёлке стояло большое лесное управление исполнения наказаний. В округе было много зон. Пошла первая волна организованной преступности. Несколько случаев захвата заложников в колониях — обязали создать отряды специального назначения. Создали спецназ и в нашем управлении.

Отбор был жесточайшим. В отряд попадали только спортсмены — рукопашники, боксёры, элитные войска. Я был неплохим спортсменом, но в спецназ не претендовал. Однако после выстрелов понимал: работать с этими людьми не буду. Знак был подан — ярче некуда.

Разрешилось само. Однажды пришёл невысокого роста мужичок в гражданке, с акцентом. Представился командиром отряда. Я его не знал, а он обо мне — многое, по слухам. В конце беседы настойчиво пригласил в штурмовое подразделение. В течение недели приходил трижды, пока я не согласился.

Было большое «но»: я ещё не восстановился. А там серьёзные тесты: бег 5 км на время, 16 раз подтянуться, 60 раз в минуту отжаться, прыгнуть с места на метр в высоту и на два с

половиной в длину. Нанести в минуту 90 эффективных ударов руками и 60 — ногами. Тут же без остановки — шесть боёв, полный контакт, по 2 минуты со сменными противниками. При этом нужно показать не меньше 50 процентов защиты и 50 — нападения. Всё записывалось на камеру. Решение принималось коллегиально, прямым голосованием.

Я тренировался до изнеможения. Ранения давали о себе знать. Но молодой организм всё перевозмог. К зиме я сдал все тесты. И — самое главное после таких травм — прошёл все шесть спаррингов. О своих травмах никому не говорил.

Я простил Александра Ивановича. Было больно смотреть, как из нормального мужика он скатился в безволие. Простил и Павлика, хотя понимал: он — манипулятор, организатор этого разложения.

«И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим».

Прощение — это не сложно. Сложно принять, что люди твою доброту принимают за слабость. Мне не стоило труда настоять на уголовном деле — суд дал бы реальный срок. Но я обещал — и сдержал слово. А он — нет.

Семья, родственники, коллеги говорили: не оставляй. Я прекращал разговоры на корню.

И только тогда, в тишине после больницы, после спецназа, после всего, я начал замечать странное. Будто мир вокруг меня стал другим. Или я стал другим. Люди тянулись, спрашивали совет. А обидчики, которых я прощал, почему-то ломались сами.

Способность прощения часто воспринимается как слабость. Но это не слабость. Это любовь. Когда открыто сердце, ты действуешь не логически, а интуитивно. И идёшь из первого порыва, не думаешь, что скажут люди. Но я знаю другое. Если пространство умышленно нарушено, после моего искреннего прощения над человеком заносится меч. Высшие силы сами вступают в защиту.

Главное — не желать вслух. Со словами, с проклятиями нужно быть аккуратным. Они сбываются с пугающей гарантией. Я молча прощаю. И знаю: загорается красный крестик. Он сработает на сто процентов.

Так вышло с Александром Ивановичем. Работать ему не дали, уволили, пил, опустился. Ходил по посёлку с колуном — колол дрова. Умер в достаточно молодом возрасте.

Павлик заболел, потерял слух, был подавлен. Позже я работал в аппарате управления, и он проходил по служебным проверкам. У меня была возможность усложнить ему жизнь. Я не стал.

Простил — значит простил.

Спустя тридцать с лишним лет об этом можно говорить. Не только за давностью лет — за смертью многих людей. Прощать нужно обязательно. Искренне, несмотря ни на что. Обещал — делай. А там как Бог даст.

P.S. Я не держу зла. Ни на кого. Тот, кто стрелял, давно мёртв. А я жив. И пишу эти строки. И в этом — всё прощение. А красный крестик — он сам знает, когда загораться.

ОСТРОВOK

Я вырос у деда. В первый класс пошёл в школу в том районе большого посёлка, где мы жили. Школа была новой, светлой. Меня всё устраивало, нравилось учиться.

Это было до.

Летом перед четвёртым классом дед сильно заболел. Мне пришлось перейти к родителям и поменять школу.

Первого сентября я стоял на линейке, не имея возможности зацепиться за что-то знакомое даже взглядом. Чужое здание. Чужие лица. Никто не спешил заговорить. Дети смотрели

насторожённо-любопытно, но не приветливо. Как зверьки, которые ещё не решили: свой или чужой.

В этот же день нас познакомили с классным руководителем, учителем русского языка и литературы Екатериной Алексеевной Бабелюк.

Она, глядя в журнал, произносила фамилии. Мы вставали. Она смотрела с улыбкой: «Хорошо. Садитесь, пожалуйста». В этом «хорошо» было что-то такое, от чего хотелось сесть прямо и больше никогда не встать. По крайней мере, на её уроках.

Екатерине Алексеевне было не более тридцати. Красивая, стройная, жгучая брюнетка. Строгие черты лица, но губы — улыбчивые. Чёрные волосы всегда аккуратно уложены. Минимум макияжа. Скромно, но со вкусом одета. Улыбающиеся глаза излучали доброту и тепло — это не штамп, я сам тогда подумал: «От неё тепло и уютно как в доме у деда».

Она уверенным каллиграфическим почерком написала на доске свою фамилию, имя, отчество. По тому, как она повернулась к классу, по тому, как держала мел, стало понятно: перед нами не просто учительница, а человек, который знает, зачем пришёл в этот кабинет.

Она по-хозяйски рассадил нас по парам. Я оказался на первой парте третьего ряда, у окна. Соседкой стала девочка Марина — невысокая брюнетка, быстроглазая и острая на язык, похожая на Нину из «Кавказской пленницы».

Как оказалось, половина класса тоже не знала друг друга: в начальной школе они учились в районе Леспромхоз, в одноэтажном деревянном здании. В четвёртый класс, в «Большую школу», всех объединили. Я попал в эту смесь чужих людей. Мы все были немного чужими. И это, наверное, спасло меня: никто не знал, каким я был раньше.

Школа была железнодорожной, стояла рядом со станцией. Типовой проект: двухэтажное здание с небольшим спортзалом, столовой и двумя этажами кабинетов. Ничего особенного. Как солдат в строю — никакого лица. Но если приглядеться, у каждого кирпича своя история.

Школьный двор с одной стороны занимало вечно сырое футбольное поле, огороженное забором, тополями и густыми акациями. Внутри — площадка для игр, два баскетбольных кольца без сеток, деревянный рукоход, полоса препятствий для НВП. Всё старое, но живое. Потому что дети оживляют даже ржавые кольца.

Учительница понравилась всем сразу. Не той дешёвой популярностью, когда учитель «свой в доску», а чем-то другим. Не пыталась нравиться. Она просто была собой. Девочки облепляли её в коридоре, что-то щебетали. Зайдя в класс до урока, около её стола сразу собиралась стайка.

Я наблюдал за этой игрой. Кто-то подбегал искренне, кто-то из любопытства, кто-то — наябедничать. Девочки в этом смысле всегда легче парней. Учительница, как мне казалось, всё видела. Но почти всегда улыбалась. Улыбка у неё была красивая, но не нарочитая. От неё исходило тепло и участие.

Она была замужем за судьёй районного суда. На тот момент у них было двое сыновей, Серёжа и Дима, чуть младше нас. Позже родилась девочка Юлия. Домашняя жизнь Екатерины Алексеевны была для нас чем-то далёким, почти мифическим. Но чувствовалось: человек состоялся не только в профессии.

Нравился мне и кабинет русского языка — он же был классной комнатой. Чуть выше доски висел плакат в хорошей рамке с цитатой Ленина: «Великий и могучий русский язык не нуждается в том, чтобы кто бы то ни было должен был бы изучать его из-под палки». Сложное, почти философское выражение. В десять лет я не понимал его до конца, но чувствовал: здесь что-то важное.

Выше — портреты Пушкина, Лермонтова, Крылова, Гоголя, Некрасова, Чехова. Они смотрели сверху, и Чехов — особенно Чехов — глядел так, будто всё уже знал про нас и только ждал, когда мы это поймём.

Кабинет отражал образ Екатерины Алексеевны: светло, уютно, на окнах шторы, много цветов.

К предмету она относилась с любовью. Понимала, насколько язык сложен, и напитывала нас знаниями ответственно, без спешки.

Правила и определения объясняла через ассоциации. Слова-исключения стеклянный, оловянный, деревянный у меня навсегда связаны с оконной рамой: стекло, дерево, металл. Жюри, брошюра, парашют— «в дружбе только с ю живут». Падежи: Иван родил девочку...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.